

Теодор Адорно

Что значит « проработка прошлого »

Вопрос о том, что означает «проработка прошлого», нуждается в прояснении. Он возникает по поводу выражения, которое в последние годы стало в высшей степени подозрительным девизом. В том употреблении этого словосочетания, о котором идет речь, под проработкой прошлого вовсе не имеется в виду, что прошедшее перерабатывается всерьез и его чары рассеиваются под воздействием ясного сознания. Напротив, под прошлым хотят подвести черту и по возможности стереть его из памяти. Жест необходимости все забыть и все простить, приличествующий лишь тому, кто испытал несправедливость, практикуется сторонниками тех, кто виновен в совершении этой несправедливости. Когда-то, участвуя в одной научной полемике, я написал: в доме палача не говорят о веревке; в противном случае мы получаем скрытый ресантимент. Однако то, что тенденция бессознательной, а также не такой уж бессознательной защиты от чувства вины так нелепо соединяется с идеей проработки прошлого, является достаточным поводом для размышлений на тему, до сих пор наводящую такой ужас, что ее даже не решаются называть собственным именем.

От прошлого хотят избавиться: это справедливо, потому что в его тени жить невозможно и потому что если за вину и насилие всегда расплачиваться виной и насилием, то чувству страха не будет конца; и несправедливо, потому что прошлое, от которого хотят убежать, еще живо. Национал-социализм не мертв, и нам до сих пор неизвестно, то ли это просто призрак того, что было настолько ужасным, что и собственная смерть его не убила, то ли он так и не умер и готовность совершить невыразимое подспудно живет в людях, равно как и в окружающем их порядке.

Мне бы не хотелось вдаваться в вопрос о неонацистских организациях. Я рассматриваю вторую жизнь национал-социализма в демократии как потенциально более угрожающую, чем направленные против демократии фашистские тенденции. Просачивание национал-социализма в демократию — это объективное явление. Возвращение сомнительных фигур на властные позиции наблюдается лишь потому, что этому способствуют сложившиеся обстоятельства.

То, что прошлое в Германии не удастся преодолеть не только кругам так называемых «неисправимых» (если это так), не вызывает сомнений. То и дело ссылаются на так называемый «комплекс вины», часто намекая на то, что он на самом деле возник лишь в результате конструирования представления о коллективной вине немцев. Бесспорно, в отношении к прошлому много невротичного: жесты защиты в отсутствие нападения; бурные аффекты без серьезного повода; отсутствие эмоций по отношению к самому серьезному; нередко и просто вытеснение осознанного или полусознанного. Так, в групповом эксперименте, проводившемся в Институте социальных исследований, мы не раз сталкивались с тем, что в воспоминаниях о депортациях и массовых убийствах выбираются смягченные выражения, эвфемистические описания или о них вообще умалчивают. Повсеместно распространенное, почти добродушное выражение «хрустальная ночь», обозначающее погром ноября 1938 года, подтверждает эту склонность. Велико число утверждающих, что они ничего не знали о том, что происходило тогда, хотя повсюду исчезали евреи и к тому же вряд ли следует предполагать, что пережившие события, происходившие на Востоке, могли все время молчать о том, что не могло не давить на них невыносимым грузом. Можно предположить, что между жестом ни-о-чем-незнания и тупым испуганным равнодушием существует некая пропорциональность. Во всяком случае, последовательные враги национал-социализма обо всем узнали очень рано.

Всем нам также хорошо известна готовность, с какой сегодня отрицаются или преуменьшаются имевшие место события. Трудно понять, как люди не испытывают стыда, приводя аргументы вроде того, что в газовых камерах было уничтожено не более пяти миллионов евреев, но никак не шесть. Иррациональным является также широко распространенный взаимный зачет вины — будто Дрезден сполна искупил Освенцим. В построении подобных расчетов, в суетливых попытках при помощи встречных обвинений освободить себя от мук совести есть что-то нечеловеческое. Разрушения во время военных действий, образцами которых, между прочим, являлись Ковентри и Роттердам, вряд можно сравнивать с административным убийством миллионов невинных людей. Но оспаривается даже и их невиновность, очевидная и несомненная. Непомерность содеянного заставляет оправдываться. Всего этого, успокаивает себя вялое сознание, просто не могло произойти, если бы жертвы сами не дали для этого какого-нибудь повода, и этот «какой-нибудь повод» может затем разрастаться до сколь угодно больших размеров. Слепление не считается с вопиющим несоответствием между абсолютно фиктивной виной и в высшей степени реальным наказанием. Порой и победителей в войне называют виновниками того, что творили проигравшие, когда еще были у власти, а за преступления Гитлера, оказывается, должны отвечать те, кто стерпел его приход

к власти, а вовсе не те, кто приветствовал этот приход ликованием. Идиотизм всего этого — воистину признак чего-то психически не преодоленного, некоей раны, хотя мысль о ранах должна была бы больше относиться к жертвам.

При всем этом разговоры о комплексе вины заключают в себе что-то неправдоподобное. В психиатрии, из которой взят этот термин, сохраняющий все коннотации своего происхождения, он обозначает болезненность чувства вины и его несоответствие реальности или, как выражаются психоаналитики, «психогенность». С помощью этого слова создается впечатление, будто чувство вины, от которого так много людей защищается, которое они срывают на чем-то или ком-то и которое искажают путем глупейшей рационализации, вовсе не соответствует никакой вине, но исходит из них самих, особенностей их душевного строения. Тем самым ужасное и реальное прошлое низводится до простого воображения тех, кто чувствует смущение от этого прошлого. Но может быть, вина, как таковая и вовсе является комплексом, а отягощение себя прошлым — болезненным поведением, тогда как здоровому и реалистично смотрящему на жизнь человеку всецело следует заниматься настоящим и реализовывать свои практические цели? Так извлекается мораль из формулы «Могло ли быть? Лишь видимость мелькала», которая, хоть и сформулирована Гёте, в решающей сцене «Фауста» вложена им в уста дьявола, чтобы разоблачить его глубинное начало, а именно разрушение памяти. Убитых лишают того единственного, что только и может преподнести им наше бессилие, — памяти. Правда, закоснелость тех, кто ничего не желает слушать о прошлом, похоже, согласуется с одной влиятельной исторической тенденцией современности. Герман Хеймпель много раз говорил об упадке в Германии сознания исторической преемственности. Оно представляет собой симптом общественного ослабления человеческого «я», корни которого Хоркхаймер и я попытались отыскать в «Диалектике Просвещения». Результаты эмпирических исследований, вроде того, что молодое поколение уже больше не знает, кем были Бисмарк и кайзер Вильгельм I, подтверждают подозрение в утрате истории.

Эта немецкая черта, ставшая очевидной лишь после Второй мировой войны, совпадает с неосведомленностью об истории американского сознания, известного еще с изречения Генри Форда «History is bunk» («История — это чушь»), — сознания, которое стало устрашающим образцом человечества без памяти. Это не просто продукт распада, не форма реакции человечества, которое, как принято говорить, подвергается воздействию слишком многих раздражителей и уже не справляется с ними, а нечто, неразрывно связанное с прогрессивностью буржуазного принципа. Буржуазное общество универсально подчиняется закону обмена «на равных», оправдывающихся расчетов с нулевой, в общем-то, суммой. Обмен по своему существу является чем-то вневременным, как и само *ratio*, — так же, как исключают из себя момент времени операции чистой математики. Подобным же образом конкретное время исчезает из индустриального производства. Последнее все больше развивается согласно одинаковому и порывистому, потенциально одновременному циклам и уже почти не нуждается в накопленном опыте. Такие экономисты и социологи, как Вернер Зомбарт и Макс Вебер, связали принцип традиционализма с феодальными общественными формами, а принцип рациональности — с буржуазными. Но это означает как минимум, что сами память и время ликвидируются прогрессирующим буржуазным обществом как своего рода иррациональный остаток, подобно тому, как прогрессирующая рационализация индустриальных способов производства вместе с другими остатками ремесленного начала редуцирует и такие категории, как период ученичества, то есть накопления опыта. Если человечество избавляется от памяти и изнуряет себя приспособлением к настоящему, то это отражает объективный закон развития[1].

Забвение национал-социализма следует понимать, исходя, скорее, из общественной ситуации в целом, нежели как следствие психопатологии. Ведь даже психологические механизмы защиты от болезненных и неприятных воспоминаний обслуживают вполне соответствующие реальности цели. Сами защищающиеся выбалтывают это, когда, руководствуясь практическим смыслом, говорят о том, что слишком конкретные и настойчивые напоминания о прошедшем могут повредить имиджу немцев за границей. Подобное рвение плохо согласуется с высказыванием Рихарда Вагнера, который хотя и был изрядным националистом, но заметил, что быть немцем — значит заниматься каким-либо делом ради него самого (если только дело заведомо не направлено на извлечение выгоды). Уничтожение памяти является, скорее, достижением слишком энергичного сознания, нежели свидетельством его слабости перед всемогущим бессознательных процессов. Забвение только что прошедшего сопровождается злостью оттого, что сперва приходится разубедить самого себя в том, что все знают, прежде чем можно разубедить других.

Разумеется, воспитанные в самом себе порывы и способы поведения не являются непосредственно рациональными, поскольку искажают факты, на которые ссылаются. Но они вполне рациональны в том смысле, что опираются на общественные тенденции и что всякий, кто реагирует таким образом, осознает свое согласие с духом времени. Подобная реакция непосредственно способствует преуспеваю. Тот, кто не озабочен ненужными мыслями, не ставит палки в колеса. Рекомендуется

подпевать тому, что Франц Бём удачно назвал «необщественным мнением». Те, кто приспособляется к настроению, которое хоть и сдерживается официальными табу, но именно поэтому становится таким заразным, одновременно доказывают свою принадлежность к целому и свою независимость. В конце концов, немецкое движение Сопротивления не имело массовой поддержки и вряд ли приобрело ее магическим путем вследствие поражения Германии. Вполне справедливо предположить, что демократия ныне укоренилась глубже, чем после Первой мировой войны: антифеодальный, вполне буржуазный национал-социализм посредством политизации масс в известном смысле подготовил, сам того не желая, процесс демократизации: каста юнкеров, как и радикальное рабочее движение, исчезла, и впервые возникло нечто похожее на гомогенное буржуазное общество. Однако тот факт, что демократия в Германию пришла слишком поздно и этот момент не совпал по времени с расцветом экономического либерализма, да к тому же ее ввели победители, вряд ли мог не повлиять на отношение к ней со стороны народа. Прямо об этом говорят редко, потому что пока при демократии все идет очень хорошо, а также потому, что подобные высказывания противоречат институционализированной в политических союзах общности интересов с Западом, прежде всего с Америкой. Однако недовольство, выражаемое в адрес re-education (переобучения), свидетельствует об этом вполне определенно. Можно говорить о том, что система политической демократии воспринята в Германии как нечто такое, что в Америке называют aworkingproposition (рабочим предложением), что функционирует, допуская процветание или даже стимулируя его. Но демократия не укоренилась настолько, чтобы люди по-настоящему переживали бы ее как свое собственное дело, осознавая себя субъектами политических процессов. Ее воспринимают как одну систему из многих, словно бы на выбор предлагались коммунизм, демократия, фашизм, монархия. Но ее не воспринимают как идентичную самому народу форму управления, как выражение его зрелости. Ее оценивают по тому, приводит ли она к успехам или неудачам, от которых в свою очередь зависят интересы отдельных людей, но не воспринимают как единство собственного интереса с общим интересом. Впрочем, такое восприятие сильно затрудняет и парламентское делегирование народного волеизъявления в современном массовом государстве. В Германии среди самих немцев можно часто услышать странное мнение, что немцы пока еще не созрели для демократии. Собственную незрелость возводят в идеологию, подобно тому, как это делают подростки, которые, когда их ловят за совершением актов насилия, оправдываются своей принадлежностью к группе тинейджеров. Гротеск этого способа аргументации свидетельствует о явном противоречии в сознании. Люди, которые столь ненаивно используют свою собственную наивность и политическую незрелость, чувствуют себя, с одной стороны, политическими субъектами, которые могли бы определять свою судьбу и обустроить общество в духе свободы. Но, с другой стороны, они сталкиваются с тем, что сложившиеся отношения накладывают на это стремление жесткие ограничения. И так как их собственное сознание не в состоянии преодолеть эти границы, то эту неспособность, которую им в действительности навязали, они приписывают или самим себе, или взрослым, или другим людям. Они как бы еще раз сами себя разделяют на субъект и объект. Господствующая ныне идеология и так определяет, что чем больше люди находятся во власти объективных отношений, которые они не могут изменить или верят, что не могут, тем больше они субъективируют эту неспособность. Опираясь на фразу, что все зависит только от людей, на людей сваливают все то, что зависит от отношений, вследствие чего сами эти отношения остаются неизблемы. Прибегая к языку философии, можно говорить о том, что в чуждости народа демократии отражается самоотчуждение общества.

Среди этих объективных обстоятельств самым важным, возможно, является развитие международной политики. Она как будто задним числом оправдывает нападение Гитлера на Советский Союз. Поскольку западный мир в своем единстве в значительной мере определяет себя через защиту от русской угрозы, кажется, будто победители 1945 года разрушили испытанный оплот защиты от большевизма лишь по глупости и только для того, чтобы несколько лет спустя восстановить его. От напрашивающейся фразы «а Гитлер всегда об этом говорил» недалеко и до экстраполяции его правоты на все остальное. Только прекраснодушные ораторы могут обходить в своих речах историческую фатальность того, что в известном смысле та самая концепция, которая когда-то подвигла чемберленов и их свиту терпеть Гитлера как цепного пса, сдерживающего натиск с Востока, благополучно пережила падение Гитлера. Воистину, это фатально. Потому что угроза с Востока, стремящегося поглотить предгорье Европы, очевидна. Тот, кто не противостоит этой угрозе, становится буквально повинен в повторении чемберленовской политики умиротворения. Забывают всего лишь (!) о том, что сама эта угроза вызвана именно действиями Гитлера, навлекшего на Европу именно то, чему согласно желаниям «умиротворителей» он, развязав экспансионистскую войну, должен был бы воспрепятствовать. Судьба политических хитросплетений исполнена вины в еще большей мере, чем судьба отдельного человека. Сопротивление Востоку имеет свою динамику, пробуждающую в Германии силы прошлого — не только идеологически, потому лозунг борьбы против большевизма издавна помогал маскироваться тем, кто о свободе не более высокого мнения, чем большевики, — но и вполне реально. Согласно одному наблюдению, сделанному еще при Гитлере, организационная сила тоталитарных систем навязывает их противникам нечто от

собственной сущности этих систем. До тех пор пока будет сохраняться экономический разрыв между Востоком и Западом, фашистская карта имеет большие шансы завоевать массы, чем пропаганда с Востока, хотя, с другой стороны, пока нет ощущения, что уже не обойтись без крайних мер фашизма. Однако к обеим формам тоталитаризма предрасположены одни и те же типы людей. Совершенно ошибочно оценивают авторитарный характер те, кто выводит его из определенной политико-экономической идеологии. Хорошо известные колебания миллионов людей на выборах 1933 года между национал-социалистической и коммунистической партиями не являются случайностью и с социально-психологической точки зрения. Проведенные в Америке исследования показали, что эта структура характера не так уж тесно связана с политико-экономическими критериями. Скорее, ее определяют такие элементы, как мышление в измерениях власти и беспомощности, неподвижность и неспособность реагировать на изменения, конвенционализм, конформизм, недостаток саморефлексии, наконец, вообще недостаточная способность к восприятию опыта. Люди с характером, завязанным на авторитете, идентифицируют себя с реальной властью как таковой, независимо от ее конкретного содержания. Они, в сущности, располагают лишь слабым «я» и поэтому в качестве эрзаца нуждаются в идентификации с большими коллективами, в которых они могли бы укрыться. То, что на каждом шагу вновь и вновь встречаются фигуры, появляющиеся, как в киносказке о чудо-детях, словно по волшебству, связано не с тем, что мир как таковой плох, и не с мнимыми особенностями немецкого национального характера, а с тождеством тех конформистов, которые заведомо связаны с рычагами любых аппаратов власти, потенциальным последователям тоталитаризма. К тому же наивно считать, что национал-социалистический режим означал лишь страх и страдание, хотя именно этим он обернулся даже для многих его сторонников. Очень многим при фашизме жилось совсем неплохо. Террор был направлен лишь против немногих более или менее строго определенных групп. После кризисного опыта предшествовавшей Гитлеру эпохи преобладало чувство «о нас заботятся», легшее в основу не одной только идеологии поездов в рамках организации «Сила через радость» и цветочных горшков в фабричных цехах. В противовес невмешательству прошлых лет гитлеровский мир до известной степени действительно охранял от стихийных бедствий общества, перед лицом которых люди раньше были предоставлены самим себе. Он насильственными методами предвосхитил современные способы управления кризисами, став варварским экспериментом по государственному регулированию индустриального общества. Повсеместно задействованная интеграция, организационное уплотнение сети общественных связей, в которую попадало все, обеспечивало также защиту от всеобщего страха провалиться сквозь общественные ячейки и уйти на дно. Бесчисленному количеству людей казалось, что холод отчужденного состояния в его бесчисленных формах был упразднен и заменен не важно как манипулируемым и навязываемым теплом соборности. Народное сообщество несвободных и неравных, будучи обманом, было одновременно и осуществлением старинной, правда, и истари дурной буржуазной мечты. Система, удовлетворяющая потребности такими способами, конечно, заключала в себе и потенциал собственного крушения. Экономическое процветание «третьего рейха» базировалось во многом на вооружении ради той самой войны, которая привела к катастрофе. Но та ослабленная память, о которой я говорил, сопротивляется принятию этой аргументации. Она упорно прославляет национал-социалистический период, когда исполнялись коллективные властные фантазии людей, которые, взятые по отдельности, не имели власти и которые представляли себя чем-то лишь в качестве такой коллективной власти. Никакой, даже самый ясный анализ не может задним числом изгнать из мира реальность этого исполнения фантазий, равно как и те инстинктивные энергии, которые были инвестированы в национал-социализм. Даже гитлеровская игра ва-банк не была такой уж иррациональной, как это представлялось тогда среднему либеральному разуму или представляется теперь при ретроспективном историческом взгляде на его провал. Расчет Гитлера использовать против других государств временное преимущество неумеренно форсированного перевооружения, в свете того, что он хотел, отнюдь не был неразумным. Тот, кто внимательно посмотрит на историю «третьего рейха», а особенно на историю войны, для того отдельные моменты, в которых Гитлер наносил поражения, вновь и вновь будут представлять как случайные, а необходимым окажется лишь развитие в целом, в ходе которого все же взял верх больший технико-экономический потенциал остальной части мира, не захотевшей быть поглощенной. В известном смысле речь идет о статистической необходимости, а не об очевидной последовательной логике. Продолжающаяся симпатия к национал-социализму совершенно не нуждается ни в какой развернутой софистике, чтобы убедить себя и других в том, что все могло бы закончиться иначе, просто были совершены ошибки, а падение Гитлера — это случайность всемирной истории, которую мировой дух еще, возможно, исправит.

С субъективной стороны, то есть исходя из работы человеческой психики, национал-социализм способствовал непомерному росту коллективного нарциссизма, проще говоря, национального тщеславия. Инстинктивные нарциссические побуждения отдельного человека, которым очерствевший мир представляет все меньше возможностей для удовлетворения, но которые тем не менее продолжают существовать в неослабленном виде, пока цивилизация отказывает им в столь многом, находят суррогатное удовлетворение в идентификации с целым. Этот коллективный

нарциссизм в результате краха гитлеровского режима пострадал сильнее всего. Ущерб ему был нанесен в сфере чистой фактичности, а отдельные люди не осознали его и потому не сумели справиться с ним. В этом заключается социально-психологический смысл разговоров о непреодоленном прошлом. Не было даже той паники, которая, согласно фрейдовской теории, изложена в работе «Психология масс и анализ человеческого "я"», возникает там, где разламываются коллективные идентификации. Если не оставлять без внимания указание великого психолога, остается лишь один вывод: те идентификации и коллективный нарциссизм вовсе не были разрушены, а продолжают существовать подспудно и неосознанно и потому приобретают особую мощь. Внутренне поражение во Второй мировой войне было ратифицировано столь же неполно, как и поражение 1918 года. Даже перед лицом очевидной катастрофы интегрированный Гитлером коллектив сохранил свое единство и был сплочен химерическими надеждами, например на тайное чудо-оружие, которым в действительности обладали другие. С социально-психологической точки зрения в связи с этим следует ожидать, что пострадавший коллективный нарциссизм только и ждет момента восстановления и поэтому цепляется за все, что позволило бы сперва привести прошлое в согласие с нарциссическими желаниями, а затем, быть может, преобразовать реальность так, чтобы отменить тот самый ущерб. В известной степени этого удалось добиться благодаря экономическому подъему, связанному с осознанием того, «какие мы молодцы». Однако я сомневаюсь в том, что эффекты так называемого экономического чуда, в котором хотя и все принимают участие, но о котором тем не менее все отзываются с некоторой долей ехидства, с социально-психологической точки зрения проникают настолько глубоко, как можно было бы подумать во времена относительной стабильности. Именно потому, что голод до сих пор охватывает целые континенты, хотя технически с ним очень просто покончить, никто не может в полной мере радоваться своему благосостоянию. Точно так же, как отдельные люди неприязненно посмеиваются, когда видят в кинофильмах кого-нибудь аппетитно и вкусно обедающего и затыкающего салфетку за воротничок, человечеству не нравится собственное довольство, когда оно замечает, что за него приходится расплачиваться чужой нуждой. Потаенный ресантимент сопутствует любому счастью, даже своему собственному. «Сытость» стала заведомо бранным словом, хотя плохого-то в ней только то, что есть люди, которым нечего есть. Мнимый идеализм, который особенно в современной Германии фарисейски набрасывается на мнимый материализм, зачастую обязан тому, что он считает своей глубиной, на деле оказывающейся лишь подавленными инстинктами. Ненависть к довольству провоцирует в Германии недовольство процветанием, а прошлое озаряется в глазах ненавидящего трагическим светом. Это чувство беспокойства, однако, возникает вовсе не из мутных источников, но имеет вполне рациональные основания. Процветание — это дело конъюнктуры, и никто не верит, что оно будет продолжаться бесконечно. Даже если люди и утешают себя тем, что события «Черной пятницы» 1929 года и последовавший за ними экономический кризис вряд ли повторятся, то в этом имплицитно присутствует доверие к сильной государственной власти, от которой ожидают защиты даже тогда, когда экономическая и политическая свободы не функционируют. Но даже и среди процветания, даже при временной нехватке рабочей силы большинство людей, вероятно, втайне ощущают себя потенциальными безработными, адресатами благодеяний и именно поэтому более объектами, но не субъектами общества. В этом заключается в высшей степени легитимное и разумное основание их недовольства. А то, что в свое время оно может быть обращено на прошлое и использовано для возобновления зла, очевидно.

Сегодняшний фашистский идеал, вне всяких сомнений, сливается с национализмом так называемых малоразвитых стран, которые, правда, так уже не определяют, но называют развивающимися странами. Согласие с теми, кто ощущал себя обойденным в империалистической конкуренции, но хотел принять участие в разделе пирога, еще во время войны нашло свое выражение в лозунгах о западных плутократиях и пролетарских нациях. Трудно сказать, впала ли уже эта тенденция в антицивилизационное, антизападное подводное течение немецкой традиции, а если да, то в какой мере, и заметна ли уже и в Германии конвергенция фашистского и коммунистического национализма. Национализм сегодня устарел и одновременно остается актуальным. Он устарел, потому что перед лицом неизбежного объединения наций в большие блоки во главе с самыми сильными державами, что диктует хотя бы развитие военной техники, отдельные суверенные нации, по крайней мере в развитой континентальной Европе, утратили свою историческую субстанциальность. Идея нации, в которой когда-то сконцентрировалось экономическое единство интересов свободных и самостоятельных граждан, противостоявшее территориальной ограниченности феодализма, сама стала преградой, перекрывающей очевидный потенциал универсального общества. Но национализм актуален потому, что лишь традиционная и психологически значимая идея нации, по-прежнему являющаяся выражением общих интересов в международной экономике, обладает достаточной силой для того, чтобы мобилизовать сотни миллионов людей на осуществление целей, которые они не могут непосредственно рассматривать как свои собственные. Национализм полностью уже не верит самому себе, но политически он все же необходим как наиболее действенное средство, заставляющее людей упорно настаивать на объективно устаревших отношениях. Поэтому, как нечто, представляющее самому себе в несколько

дурном свете и намеренно вводимое в заблуждение, он сегодня принимает уродливые формы. Будучи варварским наследием примитивных родовых союзов, он, правда, никогда не был свободен от них. Однако они были обузданы до тех пор, пока либерализм и в действительности утверждал право отдельных личностей в качестве условия коллективного благосостояния. Поэтому только в эпоху, когда национализм уже давно перерос сам себя, он стал совершенно садистским и деструктивным. Такой уже была ненависть гитлеровского мира ко всему, что является другим, национализм как параноидальная система иллюзий. Однако и в наше время притягательность этих его черт вряд ли уменьшилась. Паранойя — мания преследования, заставляющая преследовать других, проецируя на них желания самого одержимого, заразительна. Коллективный бред, такой, как антисемитизм, подтверждает патологию отдельного человека, который психически больше не справляется с миром и оказывается отброшен во внутреннее царство видимостей. Эти представления могут даже, согласно утверждению психоаналитика Эрнста Зиммеля, освободить отдельного полусумасшедшего от необходимости совсем сойти с ума. Насколько открыто бредовость национализма раскрывается сегодня в разумном страхе перед новыми катастрофами, настолько же она способствует и распространению национализма. Мания — это суррогат мечты о человеческом обустройстве мира самим человечеством, мечты, от которой мир человечество упорно отучивает. Но патологический национализм неразрывно связан со всем тем, что произошло с 1933 по 1945 год.

То, что фашизм продолжает жить, то, что проработка прошлого, о которой столько говорят, до сих пор не удалась, то, что она выродилась в собственную карикатуру — пустое и холодное забвение, связано с тем, что еще продолжают существовать объективные общественные предпосылки, из которых фашизм произрос. Его сущность нельзя вывести из одних только субъективных предрасположенностей. Экономический порядок и, в соответствии с его моделью, также и почти вся экономическая организация способствуют, как и прежде, зависимости подавляющего большинства людей от данностей, над которыми они не властны, и тем самым — незрелости людей. Если люди хотят жить, то им не остается ничего другого, как приспособиться к этим данностям и смириться с ними. Они должны поставить крест на той самой автономной субъективности, к которой апеллирует идея демократии. Сохранить же себя они могут лишь в том случае, если откажутся от своего «я». Понять это ослепление они могут только ценой того мучительного напряжения сознания, которому препятствует устройство жизни, и не в последнюю очередь — раздутая до тотальности индустрия культуры. Необходимость такого приспособления, идентификации себя с существующим, данным, с властью как таковой, создает тоталитарный потенциал. Он усиливается за счет чувства неудовлетворенности и гнева, которое производит и воспроизводит необходимость приспособляться. И так как действительность, в конце концов, не дает той автономии и того возможного счастья, которое вообще-то обещает понятие демократии, то к ней относятся индифферентно, если и вовсе не питают к ней тайную ненависть. Форма политической организации переживается как не соответствующая общественной и экономической реальности. Поскольку людям приходится приспособляться, им хочется, чтобы и формы коллективной жизни также приспособлялись, тем более что от подобного приспособления ожидают рационализации государственного организма как гигантского предприятия, поставленного в условия отнюдь не мирной конкуренции. Для людей, постоянно переживающих реальное бессилие, лучшее переносимо даже как видимость. Они предпочитают избавиться от обязанности автономного существования, в отношении которого у них возникает подозрение, что они не смогут соответствовать ему, и бросаются в плавильный котел коллективного «я».

Следуя той максиме, что сегодня преувеличение вообще стало единственным средством выражения истины, я, конечно, сгустил краски. Но мои фрагментарные и во многом рапсодические замечания не следует понимать как шпенглеровщину, которая и сама становится на сторону зла. Моим намерением было показать тенденцию, скрывающуюся за гладким фасадом повседневности, покуда она не прорвала пока еще сдерживающие ее институциональные дамбы. Угроза эта объективна, она связана в первую очередь не с отдельными людьми. Многие, как уже было сказано, свидетельствуют о том, что демократия вместе со всеми своими установлениями проникает в людей глубже, чем во времена Веймарской республики. Подчеркивая то, что не так очевидно, я пренебрег тем, о чем следовало бы задуматься с особым усердием, а именно что в рамках немецкой демократии после 1945 года и вплоть до сегодняшнего дня материальная жизнь общества воспроизводилась в невиданно богатых формах, и этот факт тоже значим с социально-психологической точки зрения. Утверждение, что с немецкой демократией и действительной проработкой прошлого все обстоит не так уж и плохо, что требуется лишь время и другие благоприятные условия, наверное, не является чересчур оптимистичным. Но только в самом понятии «еще есть время» есть что-то наивное и одновременно созерцательное в дурном смысле этого слова. Ведь мы не простые созерцатели всемирной истории, имеющие возможность более или менее безобидно порезвиться на ее больших просторах. Да и сама всемирная история, чей ритм становится все более катастрофическим, похоже, не стремится предоставлять своим субъектам время, за которое все как-то могло бы само собой уладиться. Это непосредственно указывает на необходимость демократической педагогики. Прежде

всего, прояснение произошедшего должно противодействовать забвению, которое слишком легко соединяется с оправданием забытого. Так, родители, которым приходится выслушивать неприятные вопросы своих детей о Гитлере, говорят о хороших сторонах и о том, что в действительности все было не так плохо, — хотя бы затем, чтобы обелить себя. В Германии модно ругать политическое образование. Несомненно, оно могло бы быть и лучше, однако социология образования уже сейчас располагает данными, которые показывают, что политическое образование, там, где оно проводится всерьез, а не воспринимается как обременительная повинность, приносит больше положительного, чем принято считать. Но если мы воспримем объективный потенциал продолжения национал-социализма со всей подобающей, как мне кажется, серьезностью, то тогда с ограничениями сталкивается и просветительская педагогика. Будь она социологической или психологической, практически она воздействует лишь на тех, кто ей открыт и потому вряд ли предрасположен к фашизму. С другой стороны, укрепить сопротивляемость и этой группы воздействию необщественного мнения — тоже не будет лишним. Напротив, можно представить, что именно из этих групп сформируется что-то вроде кадров, деятельность которых в различных областях жизни поспособствует изменению целого. Шансы на это тем больше, чем более осознанно они будут действовать. Само собой разумеется, что просвещение не может ограничиваться этими группами. При этом мне не хотелось бы погружаться в трудный и крайне ответственный вопрос о том, насколько, стремясь к публичному просвещению, следует касаться прошлого. Не вызывает ли чрезмерная настойчивость в данном деле упрямое сопротивление и не приводит ли к результату, противоположному тому, на который рассчитывали? Лично мне представляется, что сознательное никогда не может приносить столько зла, сколько несет бессознательное, полусознательное и досознательное. По сути, все зависит от того, в каком виде представляется прошлое: становится ли оно лишь предметом укора или же мы преодолеваем ужас, находя в себе силу постигать непостижимое. Последнее, правда, предполагает воспитание воспитателей, а оно чрезвычайно осложняется тем, что то, что в Америке называется *behaviouralsciences* (науки о поведении), в Германии не представлено никак или крайне слабо. Следовало бы настоятельно требовать усиления в университетах позиции социологии, которая бы совпала с историческим исследованием нашей собственной эпохи. Педагогике, вместо того чтобы глубокомысленно нести почерпнутый из вторых рук вздор о бытии человека, следовало бы взять на себя задачу, недостаточное выполнение которой приводит к столь усердным нападкам на *re-education*. Криминология же вообще еще не достигла в Германии современных стандартов. Но прежде всего следует иметь в виду психоанализ, который по-прежнему вытесняется. Однако он либо совершенно отсутствует, либо его заменили такими течениями, которые, хоть они и хвастаются, что преодолели XIX столетие, которое так любят ругать, в действительности отстают от теории Фрейда или даже превращают ее в ее же собственную противоположность. Точное и неразбавленное знание психоанализа актуально, как никогда прежде. Ненависть к ней непосредственно смыкается с антисемитизмом — вовсе не только потому, что Фрейд был евреем, но и потому, что психоанализ заключается как раз в той критической саморефлексии, которая доводит антисемитов до белого каления. Но насколько невозможно — хотя бы в силу фактора времени — нечто вроде массового анализа, настолько же оказалось бы целебным, если бы строгий психоанализ обрел свое институционализированное место и стал оказывать влияние на духовный климат в Германии, даже если бы он и состоял единственно в том, чтобы сделать само собой разумеющейся привычку не выплескивать недовольство вовне, но размышлять о самих себе и своем отношении к тем, на кого привыкло гневаться закоснелое сознание. В любом случае попытки субъективно противодействовать объективному потенциалу зла ни в коем случае не должны довольствоваться лишь корректировкой, едва ли способной сдвинуть с места всю тяжесть того, с чем следует бороться. Так, например, ссылки на великие достижения евреев в прошлом, какими бы верными они ни были, большой пользы не приносят, зато папахивают пропагандой. А пропаганда, рациональная манипуляция иррациональным — это прерогатива сторонников тоталитаризма. Их противникам не следует подражать им в том, что все равно неизбежно обернется неудачей. Славословия в адрес евреев, обособляющие их как отдельную группу, играют на руку антисемитизму. Последний же потому так трудно опровергнуть, что психическая экономия огромного числа людей нуждалась в нем и, в более смягченной форме, вероятно, нуждается в нем до сих пор. Все, что делается с помощью пропаганды, остается двусмысленным. Мне рассказали историю об одной женщине, которая, просмотрев инсценировку дневника Анны Франк, потрясенно заявила: «Да, но хотя бы эту девушку надо было пощадить». Вероятно, даже это было хорошо как первый шаг к пониманию. Но индивидуальный случай, который был призван просветить зрителей, представляя ужасное целое, вследствие своей индивидуальности превратился в алиби этого целого, о котором эта женщина в результате забыла. Досадность таких наблюдений заключается в том, что даже они не позволяют предостеречь от постановок пьесы об Анне Франк или похожих пьес, потому что их воздействие все же — как ни отвратительно это звучит и каким бы надругательством над достоинством мертвых это ни выглядело — увеличивает потенциал лучшего. Я также не думаю, что встречами и контактами между молодыми немцами и молодыми израильскими и другими дружественными мероприятиями можно многого добиться, какими бы желательными ни были такие контакты. Занимающиеся всем этим чрезмерно опираются на предпосылку, что антисемитизм имеет

какое-то существенное отношение к евреям и бороться с ним можно при помощи конкретного опыта общения с евреями. Между тем подлинный антисемит определяется тем, что он вообще не хочет приобретать никакой опыт, что с ним невозможно заговорить. Если антисемитизм имеет преимущественно объективные социальные корни и заключается в самих антисемитах, то тогда последние, в полном соответствии с национал-социалистической шуткой, вынуждены были бы придумать евреев, если бы их не существовало. Но в той мере, в какой мы хотим бороться с ним внутри субъектов, не следует слишком многого ожидать от ссылки на факты, которые они зачастую не подпускают к себе или нейтрализуют, называя их исключениями. Скорее, предметом аргументации необходимо делать самих субъектов, к которым мы обращаемся. До их сознания следует довести механизмы, формирующие в них расовые предрассудки. Проработка прошлого, понятая как просвещение, по своей сути заключается в подобном рода обращении к субъекту, в усилении его самоуверенности и тем самым и его «я». При этом следует осознать наличие нескольких непробиваемых пропагандистских трюков, согласующихся с теми психологическими диспозициями, наличие которых у людей следует предполагать. Поскольку эти трюки неподвижны и ограничены числом, то не представляет большой сложности выкристаллизовать их, придать их широкой огласке и взять их за основу чего-то вроде профилактической вакцины. Проблема практического осуществления подобного просвещения могла бы быть решена, пожалуй, только совместными усилиями педагогов и психологов, не избегающих под предлогом научной объективности той насущной задачи, которая стоит сегодня перед их дисциплинами. Однако перед лицом объективного насилия, стоящего за потенциалом непроработанного прошлого, одного лишь субъективного просвещения недостаточно — даже если оно будет осуществляться гораздо более энергично и на совсем других, более глубоких уровнях, чем теперь. Если объективной угрозе мы хотим противопоставить что-то объективное, то одной лишь идеи для этого недостаточно, даже если это идея свободы и человечности, которая, как мы уже поняли, в своем абстрактном виде значит для людей не очень много. Если фашистский идеал связан с интересами людей, хотя бы даже и ограниченными, то единственным действенным средством против него является убедительное одной своей истинностью указание на эти интересы, причем на самые непосредственные. Нужно быть философствующим психологом, чтобы, предпринимая подобные усилия, не считаться с тем, что, пусть войны и принесенных ею немецкому населению страданий и оказалось недостаточно, чтобы уничтожить тот потенциал, все же они являются противовесом ему. Следует напомнить людям о самых простых вещах: что явные и замаскированные фашистские новации приносят Европе войну, страдания и нужду в системе, основанной на насилии, и, в конце концов, способствуют русской гегемонии в Европе, короче говоря, что они приводят к политической катастрофе. Такие слова оказывают более сильное воздействие, нежели ссылка на идеалы или демонстрация страданий других людей, с которыми, как было известно еще Ларошфуко, относительно просто справиться. По сравнению с этой перспективой сегодняшнее чувство беспокойства означает не более чем каприз настроения. Несмотря на все усилия по вытеснению, Сталинград и ночные бомбардировки помнят настолько, что можно всем растолковать взаимосвязь между реанимацией той политики, которая привела к ним, и перспективой Третьей пунической войны. Даже если это и получится, опасность останется. Прошлое будет проработано лишь тогда, когда удастся преодолеть сами причины событий прошлого. Лишь потому, что эти причины продолжают действовать, чары прошлого до сих пор не рассеяны.

Перевод с немецкого М.Г. (черновик Михаила Хорькова)

[1] Этот абзац был изъят из текста доклада при его первой публикации в 1963 году.

Источник: журнал «Неприкосновенный запас», 2, 2005